

Василий Рыбаков, угрюмый парень, силач, любивший молча толкать людей плечом так, что они отлетали от него мячиками, – этот молчаливый озорник отвёл меня однажды в угол за конюшню и предложил мне:

– Лексей – научи меня книгу читать, я тебе полтину дам, а не научишь – бить буду, со света сживу, ей-богу, вот – крещусь!

И – размашисто перекрестился.

Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом, но дело сразу пошло хорошо, Рыбаков оказался упрям в непривычном труде и очень понятлив. Недель через пять, возвращаясь с работы, он таинственно позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, волнуясь:

– Гляй! Это я с забора сорвал, что тут сказано, а? Погоди – «продаётся дом» – верно? Ну – продаётся?

– Верно.

Рыбаков страшно вытаращил глаза, лоб его покрылся потом, помолчав, он схватил меня за плечо и, раскачивая, тихонько говорил:

– Понимаешь – гляжу на забор, а мне будто шепчет кто: «продаётся дом»! Господи помилуй... Прямо как шепчет, ей-богу! Слушай, Лексей, неужто я выучился – ну?

– А читай-ка дальше!

Он уткнул нос в бумагу и зашептал:

– «Двух – верно? – этажный, на камен-ном»...

Рожу его расплылась широчайшей улыбкой, он мотнул головой, выругался матерно и, посмеиваясь, стал аккуратно свёртывать бумажку.

– Это я оставляю на память – как она первая... Ах ты, господи... Понимаешь? Как будто – шепчет, а? Диковина, брат. Ах ты...

Я хохотал безумно, видя его густую, тяжёлую радость, его детское милое недоумение перед тайной, вскрывшейся перед ним, тайной усвоения посредством маленьких чёрных знаков чужой мысли и речи, чужой души.

Я мог бы много рассказать о том, как чтение книг – этот привычный нам, обыденный, но в существе своём таинственный процесс духовного слияния человека с великими умами всех времён и народов – как этот процесс чтения иногда вдруг освещает человеку смысл жизни и место человека в ней, я знаю множество таких чудесных явлений, исполненных почти сказочной красоты.

Вот так же, как угрюмому озорнику Рыбакову, книги шептали мне о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал; вот так же, как кривому сапожнику, они указывали мне моё место в жизни. Окрыляя ум и сердце, книги помогли мне подняться над гнилым болотом, где я утонул бы без них, захлебнувшись глупостью и пошлостью. Всё более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле и каких невероятных страданий стоило это ему.

И в душе моей росло внимание к человеку – ко всякому, кто бы он ни был, скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. Жить становилось легче, радостнее – жизнь наполнялась великим смыслом.

Так же, как в кривом сапожнике, книги воспитали во мне чувство личной ответственности за всё зло жизни и вызвали у меня религиозное преклонение пред творческой силой разума человеческого.

И с глубокой верою в истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.

Пусть она будет враждебна вашим верованиям, но если она написана честно, по любви к людям, из желания добра им – тогда это прекрасная книга!

Горький

(1)У каждого, даже самого серьёзного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. (2)Была такая мечта и у меня, — обязательно попасть на Боровое озеро.

(3)От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. (4)Все отговаривали меня идти, — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. (5)Картина известная! (7)— Чего не видал? (8)Народ какой пошёл суетливый, хваткий, господи! (9)Всё ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! (10)А что ты там высмотришь? (11)Один водоём. (12)И более ничего!

(13)Но я всё-таки пошёл на озеро. (14)Со мной увязались двое деревенских мальчишек, — Лёнька и Ваня.

(15)Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. (16)Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. (17)Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. (18)Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. (19)Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. (20)Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. (21)В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зёрнышками, сухими лапками жуков, мёртвыми осами и мохнатой гусеницей.

(22)— Суета! — сказал Ваня. (23)— Как в Москве.

(24)Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. (25)Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. (26)Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. (27)Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака.

(28)— Вот это лес! - вздохнул Лёнька. (29)— Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола. (30)Потом сосны сменились берёзами, и за ними блеснула вода.

(31)— Боровое? — спросил я.

(32)— Нет. (33)До Борового ещё шагать и шагать. (34)Это Ларино озерцо. (35)Пойдём, поглядишь в воду, засмотришься.

(36)Солнце блестело в тёмной воде. (37)Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из чёрной стали, а над водой, отражаясь в ней желтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки...

(38)От озерца мы вышли на лесную дорогу, которая привела нас к прогретому до корней берёзовому и осиновому мелколесью. (39)Деревца тянулись из глубокого мха. (40)Через болотце вела узкая тропа, она обходила высокие кочки, а в конце тропы чёрной синевой светилась вода — Боровое озеро. (41)Тяжёлый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

(42)Мы вышли к озеру. (43)Трава выше пояса стояла по его берегам. (44)Вода поплёскивала в корнях старых деревьев. (45)Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. (46)Ударил рыба, и лилии закачались.

(47)— Вот красота! — сказал Ваня. (48)— Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари. (49)Я согласился. (50)Мы пробыли на озере два дня: видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра, слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. (51)Он шёл недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между чёрным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.

(52)Вот и всё, что я хотел рассказать. (53)Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

(54)Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.

Паустовский

На перекрестках лесных дорог, около шалашей, сложенных из сосновых веток, стояли девушки-бойцы с флажками. Они руководили потоком военных машин, указывали им дорогу, проверяли наши документы.

Мы встречали этих девушек-регулирующих в полях очень далеко от деревень, в лесах, около переправ через быстрые реки. Под дождем и на ветру, в пыли и на солнцепеке, в северные ночи и на рассветах – всюду и всегда мелькали мимо нас их обветренные лица, строгие глаза, выцветшие пилотки. Ночью в глухом лесу одна из таких девушек остановила нашу машину и спросила:

– Нет ли у вас, товарищи, молока?

– Мы с фронта едем, а не с молочной фермы, – недовольно ответил шофер.

– Своих коров мы, как на грех, подоить не успели, – насмешливо добавил боец с автоматом. – Вот беда! У нас не за каждой ротой ходит стадо молочных коров.

– А вы бросьте шутить, – сердито сказала девушка. – Я вашим остроумием не интересуюсь. Значит, нет молока?

– А в чем дело? – спросил майор, вылезая из машины. За ним вылез боец.

Регулирующая рассказала, что этой ночью она впервые за время войны сильно испугалась.

Артиллерия открыла ночной огонь. В лесу это хуже всего. Когда тихо, то хоть ничего и не видно, но, по крайней мере, слышно, как захрустит под сапогом каждая ветка. Никакой немец, отбившийся от своих, не может застать врасплох. А когда бьет ночью артиллерия – и слепнешь от темноты и, вдобавок, глохнешь.

Девушка стояла ночью на перекрестке. Вдруг кто-то крепко схватил ее за ноги. Девушка закричала, отскочила, схватилась за винтовку. Сердце у нее колотилось так громко, что она не сразу услышала тихий плач у своих ног. А услышав, зажгла электрический фонарик и осветила дорогу.

– Смотрю: маленькая девочка в рваном платке стоит рядом. Такая маленькая, ростом мне до колен. Я слова сказать не могу, а она обхватила меня за ноги, уткнулась головой в колени и плачет. Нагнулась я над ней, сама реву, дура, и слышу, как она одно только слово шепчет: «Мама». И так настойчиво, знаете, шепчет, будто я действительно ее настоящая мать. Отнесла я ее в шалаш, уложила, закутала шинелью. Спит она сейчас. Молока бы ей надо, когда она проснется.

– Да, дела, – сказал майор. – А сколько ей лет?

– Годика три. Она уже разговаривает хорошо. Все, что могла, мне рассказала. Изба их – там где-то, за лесом, – сгорела вместе со всей деревней, а мать, должно быть, убили немцы. Она говорит, что мать спит, а она ее будила-будила и никак не могла разбудить.

– Да, дела! – повторил растерянно майор.

– Есть у меня банка сгущенного молока, – пробормотал шофер и начал рыться в темноте у себя под ногами.

– Молоко, конечно, молоком, – сказал боец с автоматом, – только ее в тыл надо определить.

– Жалко мне ее, – тихо вздохнула регулировщица.

– А ты что ж, – спросил боец, – при себе ее оставить хочешь? Кто тебе разрешит? Ребенку забота нужна. Скажем, детский сад или что-нибудь в этом смысле.

– Да, я понимаю, – согласилась девушка, – только не – охота мне ее вам отдавать.

– Давайте, давайте! – суровым голосом сказал майор. – Мы ее устроим в надежное место.

Регулировщица побежала в шалаш за девочкой.

– Вот происшествие! – сказал боец, – Я от Сталинграда до Брянска дошел, а ничего похожего не случилось.

– Научили меня немцы ихний род, фашистский ненавидеть, – пробормотал шофер.

– И меня научили, – сказал боец. – Я семьдесят пять немцев пока что уничтожил.

– Ты что ж, снайпер? – спросил шофер.

– А как же. Мы все, яранские, снайперы.

Регулировщица принесла девочку. Она крепко спала.

– Кто из вас ее держать будет? – спросила регулировщица.

– Я, – сказал боец с автоматом. – Всю дорогу буду держать.

– Смотри, уронишь, – заметил шофер. – Все-таки хрупкое существо.

– Это кто уронит? – грозно спросил боец. – Я, что ли? Сказано тебе, что я снайпер. Рука у меня твердая. Это не то, что твою баранку крутить. И опять же – дочка у меня в деревне осталась, чуть поболее, чем эта. Я ее сам, бывало, в коляске укачивал.

Боец неожиданно и смущенно улыбнулся.

– Ну и держи, – примирительно сказал шофер. – Я все равно очень аккуратно поеду. С моей ездой ты ее не уронишь.

Боец влез в машину, осторожно взял девочку. Над вершинами леса небо уже синело, приближался рассвет.

– Поехали, – сказал майор.

Регулировщица покраснела, обдернула гимнастерку и тихо сказала, вертя в руках измятый листок бумаги:

– Разрешите обратиться, товарищ майор. Вот тут я адрес написала, свою полевую почту. Очень мне желательно знать, куда вы ее определите. Пусть мне напишут. Пожалуйста!

– Давайте, – сказал майор. – Значит, не хотите с ней навсегда расставаться?

– Не хочу, товарищ майор.

Машина тронулась. Над первой же просекой, заросшей высокой травой, мы увидели солнце.

Белое и огромное, оно подымалось в синеватой утренней мгле. По просеке вели пленных немцев.

Они сошли с узкой лесной дороги, чтобы дать дорогу машине. Злыми, тяжелыми глазами они смотрели на нас из-под стальных шлемов, а один из них, с редкими, будто выщипанными усиками, чуть заметно оскалился.

Шофер обернулся к бойцу и спросил:

– Сколько ты, говоришь, уничтожил?

– Семьдесят пять.

– Маловато, по-моему, – сказал шофер.

– Ничего, – пробормотал боец. – У меня с ними еще разговор будет. Автоматический.

Паустовский

1) Был осенний серенький день в конце листопада. (2) И настроение серенькое. (3) Я доехал на трамвае в Тимирязевский парк прогуляться.

(4) Пустынно было в парке и тихо. (5) Только ворона на сухом дереве воевала с куриной костью. (6) И вдруг из леса через дорогу в пяти шагах от меня проследовал заяц. (7) Он не бежал, а тихо подпрыгивал, удостоив меня лишь косым взглядом. (8) Тут же он остановился в двух шагах от меня, поскрёб за ухом длинной задней ногой и тихо-мирно упрыгал в кусты. (9) Эко событие, скажете. (10) Однако настроение у меня сразу переменялось. (11) Я шёл, посвистывая, вспоминал зайца, представляя, что он сейчас делает. (12) Дома за чаем опять его вспомнил. (13) И было на душе хорошо и тепло.

(14) Явление это обычное. (15) Пойдёшь с рюкзаком за город и, если ничего живого за день не усмотрел, возвращаешься хоть и довольный ходьбой, но всё-таки чувствуешь: чего-то важного не было. (16) Этим важным может быть утка, с треском и кряканьем взлетевшая из-под ног с маленького пруда. (17) Это могут быть увлекательные сцены поединка двух летунов — стрекозы и сороки. (18) Или кабан пробежал близко, показывая лишь спину поверх бурьянов. (19) Или вдруг в бинокль увидел: дятел таскает птенцам в дуплянку не личинок, а созревшие ягодки земляники. (20) Всё это даёт день пешей прогулки в лес... (21) Всё живое, тесно переплетённое множеством связей, являет собою чудо с названием Жизнь, очень возможно, единственную в бескрайней Вселенной, и всякое проявление жизни даёт ощущение радости бытия. (22) Из всех человеческих ценностей главная — сама жизнь с восходом солнца, с облаками, пением птиц, кваканьем лягушек, трюканьем сверчка и шелестом трав. (23) Удалите всё это из жизни или по нерадивости потеряйте (это возможно при варварском отношении человека к Природе), и жизнь потеряет краски и главный источник радости. (24) Жизнь в окружении только автомобилей, компьютеров, самолётов, телевизоров, пейджеров станет для человека невыносимой. (25) Впрочем, до этой точки, не заботясь о сохранении живого мира, человек вряд ли и доживёт.

Песков

Вопрос о том, зачем нужна грамотность, обсуждается широко и пристрастно. Казалось бы, сегодня, когда даже компьютерная программа способна выправить не только орфографию, но и смысл, от среднестатистического россиянина не требуется знания бесчисленных и порой бессмысленных тонкостей родного правописания. Я уж не говорю про запятые, которым не повезло дважды. Сначала, в либеральные девяностые, их ставили где попало или игнорировали вовсе, утверждая, что это авторский знак. Школьники до сих пор широко пользуются неписаным правилом: «Не знаешь, что ставить, — ставь тире». Не зря его так и называют — «знак отчаяния». Потом, в стабильные нулевые, люди начали испуганно перестраховываться и ставить запятые там, где они вообще не нужны. Правда, вся эта путаница со знаками никак не влияет на смысл сообщения. Зачем же тогда писать грамотно? Думаю, это нечто вроде тех необходимых условностей, которые заменяют нам специфическое собачье чутье при обнюхивании. Сколько-нибудь развитый собеседник, получив электронное сообщение, идентифицирует автора по тысяче мелочей: почерка, конечно, он не видит, если только послание пришло не в бутылке, но письмо от филолога, содержащее орфографические ошибки, можно стирать, не дочитывая. Известно, что в конце войны немцы, использовавшие русскую рабочую силу, угрозами вымогали у славянских рабов специальную расписку: «Такой-то обращался со мной замечательно и заслуживает снисхождения». Солдаты-освободители, заняв один из пригородов Берлина, прочли гордо предъявленное хозяином письмо с десятком грубейших ошибок, подписанное студенткой Московского университета. Степень искренности автора стала им очевидна сразу, и обыватель-рабовладелец поплатился за свою подлую предусмотрительность. У нас сегодня почти нет шансов быстро понять, кто перед нами: способы маскировки хитры и многочисленны. Можно симитировать ум, коммуникабельность, даже, пожалуй, интеллигентность. Невозможно сыграть только грамотность — утонченную форму вежливости, последний опознавательный знак смиренных и памятливых людей, чтущих законы языка как высшую форму законов природы.

Быков

Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к вечеру я вышел к реке, к сторожке бакенщика Семена.

Сторожка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне лодку, и пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу подошли трое мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного цвета. Мальчики сели у воды, над обрывом. Тотчас из-под обрыва начали вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки; в обрыве было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись.

- Вы откуда? - спросил я их.

- Из Ласковского леса, - ответили они и рассказали, что они пионеры из соседнего города, приехали в лес на работу, вот уже три недели пилят дрова, а на реку иногда приходят купаться. Семен их перевозит на тот берег, на песок.

- Он только ворчливый, - сказал самый маленький мальчик. - Все ему мало, все мало. Вы его знаете?

- Знаю. Давно.

- Он хороший?

- Очень хороший.

- Только вот все ему мало, - печально подтвердил худой мальчик в кепке. - Ничем ему не угодишь. Ругается.

Я хотел расспросить мальчиков, чего же в конце концов Семену мало, но в это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую руку и сказал:

- Хорошие ребята, а понимают мало. Можно сказать, ничего не понимают. Вот и выходит, что нам, старым веникам, их обучать полагается. Верно я говорю? Садитесь в лодку. Поехали.

- Ну, вот видите, - сказал маленький мальчик, залезая в лодку. - Я же вам говорил!

Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакенщики и перевозчики на всех наших реках. Такая гребля не мешает говорить, и Семен, старик многоречивый, тотчас завел разговор.

- Ты только не думай, - сказал он мне, - они на меня не в обиде. Я им уже столько в голову вколотил - страсть! Как дерево пилить - тоже надо знать. Скажем, в какую сторону оно упадет. Или как схорониться, чтобы комлем не убило. Теперь небось знаете?

- Знаем, дедушка, - сказал мальчик в кепке. - Спасибо.

- Ну, то-то! Пилу небось развести не умели, дровоколы, работнички!

- Теперь умеем, - сказал самый маленький мальчик.

- Ну, то-то! Только это наука не хитрая. Пустая наука! Этого для человека мало. Другое знать надобно.

- А что? - встревоженно спросил третий мальчик, весь в веснушках.

- А то, что теперь война. Об этом знать надо.

- Мы и знаем.

- Ничего вы не знаете. Газетку мне намереди вы принесли, а что в ней написано, того вы толком определить и не можете.

- Что же в ней такого написано, Семен? - спросил я.

- Сейчас расскажу. Курить есть?

Мы скрутили по махорочной сигарке из мятой газеты. Семен закурил и сказал, глядя на луга:

- А написано в ней про любовь к родной земле. От этой любви, надо так думать, человек и идет драться. Правильно я сказал?

- Правильно.

- А что это есть - любовь к родине? Вот ты их и спроси, мальчишек. И видать, что они ничего не знают.

Мальчики обиделись:

- Как не знаем!

- А раз знаете, так и растолкуйте мне, старому дураку. Погоди, ты не высказывай, дай досказать. Вот, к примеру, идешь ты в бой и думаешь: "Иду я за родную землю". Так вот ты и скажи: за что же ты идешь?

- За свободную жизнь иду, - сказал маленький мальчик.

- Мало этого. Одной свободной жизнью не проживешь.



- За свои города и заводы, - сказал веснушчатый мальчик.

- Мало!

- За свою школу, - сказал мальчик в кепке. - И за своих людей.

- Мало!

- И за свой народ, - сказал маленький мальчик. - Чтобы у него была трудовая и счастливая жизнь.

- Все вы правильно говорите, - сказал Семен, - только мало мне этого.

Мальчики переглянулись и насупились.

- Обиделись! - сказал Семен. - Эх вы, рассудители! А, скажем, за перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели? А?

Паустовский

Все мы пробыли месяц в запасном полку за Волгой. Мы, это так — остатки разбитых за Доном частей, докатившихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых... два свинцово-тяжелых сухаря на день, мутная водица вместо похлебки. Отправку на фронт встретили с радостью.

Очередной хутор на нашем пути. Лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.

Через полчаса старшина вернулся.

— Ребята! — объявил он вдохновенно. — Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!

Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! — Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем. у меня вспыхнула мыслишка... о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая.

Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки — семь и еще половина.

Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.

Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет известно... Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!

В жизни мне случалось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел голавль, и снял его с крюка... Но всякий раз я находил для себя оправдание: не выучил задание — надо было дочитать книгу, подрался снова — так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля — но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашел...

Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку!

С обочины дороги навстречу нам с усилием — ноет каждая косточка — стали подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.

Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.

В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:

— А где?.. Тут полбуханка была!

Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.

— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!

Я молчал.

Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:

— Лучше, парень, будет, коли признаешься.

В голосе пожилого солдата — крупца странного, почти неправдоподобного сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.

— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.

И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.

— Не бойся! — с презрением проговорил он. — Бить тебя... Руки пачкать.

И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — темные, измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные. Среди красивых людей — я уродлив.

Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед самим собой.

Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой позор. Мелкими поступками раз за разом я завоевывал себе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя катушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали — нормально. А это-то мне и было нужно, я не претендовал на исключительность, не смел и мечтать стать лучше других.

Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.

Тендряков

Когда человек любит, он проникает в суть мира. Белая изгородь была вся в иголках мороза, красные и золотые кусты. Тишина такая, что ни один листик не тронется с дерева. Но птичка пролетела, и довольно взмах крыла, чтобы листик сорвался и, кружась, полетел вниз. Какое счастье было ощущать золотой лист орешника, опушенный белым кружевом мороза! И вот эта холодная бегущая вода в реке... и этот огонь, и тишина эта, и буря, и все, что есть в природе и чего мы даже не знаем, все входило и соединялось в мою любовь, обнимающую собой весь мир. Любовь - это неведомая страна, и мы все плывем туда каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем. Я пропустил первую порошу, но не раскаиваюсь, потому что перед светом явился мне во сне белый голубь, и когда я потом открыл глаза, я понял такую радость от белого снега и утренней звезды, какую не всегда узнаешь на охоте. Вот как нежно, проведя крылом, обнял лицо теплый воздух пролетающей птицы, и встает обрадованный человек при свете утренней звезды, и просит, как маленький ребенок: звезды, месяц, белый свет, станьте на место улетевшего белого голубя! И такое же в этот утренний час было прикосновение понимания моей любви, как источника всякого света, всех звезд, луны, солнца и всех освещенных цветов, трав, детей, всего живого на земле. И вот ночью представилось мне, что очарование мое кончилось, я больше не люблю. Тогда я увидел, что во мне больше ничего нет и вся душа моя как глубокой осенью разоренная земля: скот угнали, поля пустые, где черно, где снежок, и по снежку - следы кошек. ...Что есть любовь? Об этом верно никто не сказал. Но верно можно сказать о любви только одно, что в ней содержится стремление к бессмертию и вечности, а вместе с тем, конечно, как нечто маленькое и само собою непонятное и необходимое, способность существа, охваченного любовью, оставлять после себя более или менее прочные вещи, начиная от маленьких детей и кончая шекспировскими строками. Маленькая льдина, белая сверху, зеленая по взлому, плыла быстро, и на ней плыла чайка. Пока я на гору взбирался, она стала бог знает где там вдали, там, где виднеется белая церковь в кудрявых облаках под сорочьим царством черного и белого. Большая вода выходит из своих берегов и далеко разливается. Но и малый ручей спешит к большой воде и достигает даже и океана. Только стоячая вода остается для себя стоять, тухнуть и зеленеет. Так и любовь у людей: большая обнимает весь мир, от нее всем хорошо. И есть любовь простая, семейная, ручейками бежит в ту же прекрасную сторону. И есть любовь только для себя, и в ней человек тоже, как стоячая вода.

Пришвин

Вчера я писал маме: «Пришли мне, пожалуйста, халвы...» Московской халвы с орехами. Ее продавали недалеко от дома, по дороге в библиотеку-читальню имени Толстого, где просижено столько долгих и незаметных вечеров. Синие галки за окнами сливались с небом, зажигались уличные фонари... А подальше была почта, откуда мама отправляла посылки, неумело забивая гвоздики в ящик, всегда вкось, так что острые кончики их обязательно вылезали из боковых стенок, и я боялся, не оцарапала ли она себе руки. Пальцы не слушались ее из-за старого ревматизма: пока обстирает шестерых детей — часами руки в воде. Теперь нас стало меньше вокруг нее. Дети растут долго, а уходят быстро...

Из разных мест на адрес, спрятанный под номером почты, присылали мармелад, колбасу, клюквенное варенье в банках, пряники на меду — блески лакомств, украшающих могучую каждодневность гороховых супов и пшениных каш. Посылки прибывали раз в пять дней, по строгому расписанию, составленному нами с учетом расстояний от Москвы, от среднерусской речки Цны, от деревни Манухино в ржанных полях... Вчера мы выворачивали ящики на голый стол, всем расчетом первого орудия третьей батареи садились вокруг и съедали очередные гостинцы в один присест. Правда, никогда не садился с нами Федор Лушин, хотя изредка брал увольнительную за посылкой и приносил с почты фанерный ящик, перевязанный шпагатом с сургучными печатями. Федор аккуратно поддевал крышку лезвием грубого карманного ножа и прятал содержимое в головах под матрас. Он молчал, его никто не трогал, кроме Эдьки Музыря, который пересчитывал нас за столом, охватывая глазами посылочные дары и тыча в грудь каждого длинным и острым пальцем. Вдруг он останавливался и вопил: — Опять нет этого жмота Лушина? Эдька срывался и бежал искать Федора, а если находил, то орал на всю казарму: — Жмот! Иди живо за стол! Держи свое дерьмо под подушкой, а с нами садись, пируй! Не омрачай души беспечной! Мы вразумляли Эдьку, чтобы он оставил Лушина в покое, но Эдька не вразумлялся, и хозяин перочинного ножа Сапрыкин заключал коротко и бесповоротно: — Псих

- Жалко, что мы мало знали друг друга. Казалось, все знали, а не все... Лушин! Прятал под подушку посылки, а теперь всех кормит. - Ему мать в посылках присылала сухари, - сказал старшина. - Покажи вам - посмеетесь над ней. Мать обидишь. Он просил: не надо, мать. Я писал ей, спасибо, Анастасия Ивановна, в нашей армии хорошо кормят, полное меню сообщал, а она - опять сухари! - Неграмотная? - Ей читали! Может, просто от любви присылала, Прохоров? Пошлет - и легче. Первый-то месяц он ее закидывал письмами - и то, и то пришли, чтобы, значит, с вами пировать. А где она возьмет то и то? И давай она сушить Федору сухари. А он их прятал и скармливал по ночам. - Кому? - Коням. Как давно это было, когда мы весело отрывали от посылочных ящиков фанерки, старательно исписанные руками матерей, и шумели, высыпая лакомства на батарейный стол, и смеялись над Лушиным, который всегда уходил на это время. - Хочешь сухарика? - спросил меня старшина. Мы грызли сухари, а ночь спала над степью вместо нас. Мерцающая звездами, ночь тянулась длинно и тихо, пока не впечатались в нее торопливые шаги.

Холендро

Раз в столетие, в самые трудные и отчаянные дни, когда горе не оставляет места надежде, появляется поколение особенных людей, каких не было до них и каких не будет еще много лет. Они рождаются из недр русского духа, возникая вдруг, как выходят из толщи земной алмазы, под немыслимым давлением и с чудовищной силой прорвавшись сквозь десятки километров базальтовых и гранитных пород. Так, вопреки законам природы, внутренний свет стремится к свету вселенскому, сметая на своем пути любые преграды, упрядняя незыблемые правила самой Природы.

Оттого в минуты слабости, в дни, когда сердце не согревает вера, а в душе больше нет сил для надежды, молитвенно повторяю: Великая Отечественная. Потому что для русского нет большей правды о его Родине и о его жизни, чем та, что сокрыта в этих словах.

Мне часто снятся сны о войне. Нет, не сражения, не парады, не завораживающая воображение военная мощь, а неказистый окопный быт, незаметная солдатская служба, повседневное фронтовое житьё-бытьё.

Еще мне снятся те ребята, которые погибли, не дожив до Победы. Мы просто курим, присев у обочины дороги или пьем чай у костра. Заливается гармоника или грустит баян, а они знай расспрашивают: «Как станут жить люди после Победы? Наверное, счастливо и до ста лет?» Потом уходят. Они не знали современного слова «профи», они были настоящими героями.

Солдаты Великой Отечественной! Не изяществом мундира и не лихим щегольством вы запомнитесь миру. Отвагой и добротой покорите его, потому что жили не за страх, а на совесть. Потому что на своих штыках вы несли спасение от чудовищного, доселе неведомого миру зла. Передо мной старые, поблекшие фотографии. Уже нет в живых ни тех, кто на них, ни тех, кому они были трогательно подписаны. И легко сказать: исторический факт, свидетельство времени. Но душа не приемлет, противится. Шарахается от такой расчетливости, зная, что святыни свои нельзя сдавать ни без боя, ни с боем. С ними можно или быть, или не быть. Это не вопрос, а закон жизни.

...

Часто думаю: почему победили мы, а не наши враги? Простой холодный анализ фактов ничего не прояснит, ни на что не ответит. Так, пустит пыль, а она, как известно, колышется от любого дуновения...

Существует один и только один честный ответ. Народ выстоит и победит лишь тогда, когда люди перестанут быть «гражданами и гражданками», а станут братьями и сестрами. Когда любовь к Родине скрепится потом и кровью!

Мне запомнились слова одной из книг, прочитанных в детстве, ставшие основой понимания нашей истории, своеобразным символом веры. Это были размышления великого русского полководца Георгия Константиновича Жукова: «Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпенье. Мужество. Величайшая стойкость. Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда Победа будет за нами».

Говорят, что время стирает прошлое как следы на песке. Бывшее некогда великим становится страницами учебников истории, а живая память сжимается до памятных дат и высеченных на обелисках цитат. Но не такова память о Великой Отечественной. Кровью скреплена с судьбой народа, запечатана в генетической памяти, зашита в судьбе, неизгладима из народного духа, подобно скрижалям Завета. Сколько бы чуждая воля ни силилась изгладить в нас её правду и сколько бы ни рассыпало свои пески время, но каждая клетка нашего тела и каждая капля нашей крови вопиет о том, что «никто не забыт и ничто не забыто».

Строганов

Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами...

— Ах, боже мой! да где же моя шкатулка?

В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи?

Представьте себе, что её не было! Да, да, её-то одной только и не было ни в комнатах между внесёнными вещами, ни в повозке — словом, нигде... Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь — в руках Селивана...

- Я сейчас скачу, скачу туда... ] - Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет!

Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не станет скрывать...

Исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и... через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошёл Селиван с тётушкиной шкатулкой в руках.

Все вскочили с мест и остановились как вкопанные...

— Забыли, возьмите, — глухо произнёс Селиван.

Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задышался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения.

Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прощенный, сел на стул и опустил голову и руки.

Шкатулка была в полной целости. Тётушка сняла с шеи ключик, отперла её и воскликнула:

— Всё, всё как было!

— Сохранно... — тихо молвил Селиван. — Я всё бег за вами... хотел догнать... не сдужал... Простите, что сижу перед вами... задохнулся.

Отец первый подошёл к нему, обнял его и поцеловал в голову.

Селиван не трогался.

Тётушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.

Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

— Возьми что тебе дают, — сказал исправник.

— За что? — не надо!

— За то, что ты честно сберёг и принёс забытые у тебя деньги.

— А то как же? Разве надо не честно?

— Ну, ты... хороший человек... ты не подумал утаить чужое.

— Утаить чужое!.. — Селиван покачал головою и добавил: — Мне не надо чужого.

И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил: он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запечь сани и отвезти его домой.

Через день об этом

происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тётушкой поехали в Кромь и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене тёплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и ещё привезли ему подарков: чаю, сахару и муки.

Он брал всё вежливо, но неохотно и говорил:

— На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать... пошёл доход... щи варили... Нас не боятся, как прежде боялись.

Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай и всё смотрел ему в лицо и думал:

"Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом?" Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое. Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго всё выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

Лесков



С детства не слышала отлетающих журавлей.

Сейчас предо мной оголенные, в побуревшем от непогоды жнивье равнины, так похожие на родные. Я сижу у самой воды, у холодного, в мелкой волне, заросшего деревьями озера. Плакучие ивы еще ярко-зеленые, а ракиты седые, как будто в дыму, словно тронуты инеем. И в листве лип и кленов и белых, серебристых тополей уже кое-где да мелькнет желтизна ранней осени.

Тишина, солнцепек, растворение в этом пахнущем вялой травой, рыбьей слизью и палыми листьями удивительном воздухе, в затишке, где безветрие возвращает тебя снова в жаркое лето. И вдруг что-то тревожное, непонятное, трубным голосом с неба, чей-то зов, чуть скрипучий, картавый, тоскливый.

— Журавли! Смотри скорей, журавли!

Они вышли, как самолеты, из-за купы деревьев классическим треугольником, держа курс строго на юг, и скрылись за дамбой, обросшей раkitником

Но мне кажется, это все те же, уже пролетавшие раз над нами. Просто птицы прощаются с озером, с рощами, с заросшими пыреем и полынью долинами и оврагами, с полями в обломках стеблей кукурузы, с бездомно покинутыми на пашнях стогами соломы. Видно, взрослые журавли учат младших, подлетков, находить, возвращаясь весной, это озеро, островки на нем в соснах и елях, этот дом на холме, эти купы деревьев и все видимые с высоты, с любого захода приметные ориентиры — грустный птичий урок навигации.

Может быть, при этом старшие им говорят:

— Запомните, это ваша родина! Обязательно возвращайтесь в родные края, даже если не будет нас, взрослых! Пожалуйста, не забудьте дорогу сюда. Здесь мы любим друг друга, здесь рождаются наши дети, здесь мы умираем. Жаркий юг — это только лишь отдых, а жизнь наша здесь...

Я завидую им, улетающим, потому что весной они обязательно снова вернутся сюда. А я?.. Сумею ли я опять побывать здесь, на темной, зеленой реке, на этих прудах и озерах, взглянуть на березовые аллеи, уходящие в степь, на свекольные и ржаные поля? Я летаю теперь выше птиц, а оттуда, с немыслимой для журавля высоты, разве можно заметить мелькнувшую где-то внизу голубую подкову заливыча, где мы ловим плотвичек и раков, эти серые, словно седые, ракиты, эти рыжие, опаленные солнцем дубы?!

Я люблю бывать каждый раз в каком-нибудь новом краю, в незнакомом мне месте, видеть горы, моря, и красивые города, и красивых людей, люблю слушать красивые, полные скрытого смысла, лукавые речи... А здесь что услышишь? Лишь «цоб» да «цобе»? Что увидишь? Вот этих летящих с севера на юг, а затем еще раз, как бы ровным крестом, поперек, с востока на запад, расстающихся со мной, улетающих журавлей?

Так мало, так мало!

Так мало, что хочется непременно вернуться — и постигнуть: а чего же здесь много? Отчего вот за эту неяркую, небогатую землю бились люди — до крови, до смерти — и с половцами, и с татарами, и с поляками, и со шведами, и с немецкими фашистами? Значит, что-то их привлекало на этой земле, моих предков, поселившихся издревле здесь, возле серой реки?

Научите меня, журавли, обязательно возвращаться! Может быть, я пойму непонятное, как и вы, угадаю.

Кожухов

Иногда я пытаюсь вспомнить первые прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что может вернуть меня в наивную пору удивлений, восторга и первой любви, вернуть то, что позднее, зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто и пронзительно. С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи? Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности давнего моего детства. Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение сверкнувшего настроения – это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, утраченного с вечным, детского со взрослым, подобно тому как соединяются золотые сны с явью. Однако, может быть, первые ощущения – толчок крови предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, исхлестывая травы под сизым лунным светом, и скрип множества телег на пыльных дорогах перемешивался с первобытной трескотней кузнециков, заселивших сопровождающим звоном многоверстные пространства, днем выжигаемых злым солнцем до колючей терпкости пахнущего лошадьми воздуха... Но первое, что я помню, – это высокий берег реки, где мы остановились после ночного переезда.

И по-земному подо мной покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль хватала колеса, доносилось пофыркивание невидимых лошадей. Это привычно возвращало меня на землю, в то же время я не мог оторваться от втягивающего своими звездными таинствами неба. Но и никогда потом не повторялось того единения с небом, того немого восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.

Бондарев

- Вот, - сказал Леонидов, постучав пальцем по газете. - Вот! Я в армейской еще позавчера заметил, хотел вам почитать, да у меня кто-то замахорил... Вот... - И стал медленно читать вслух громким, сердитым голосом: - "Немецко-фашистские мерзавцы зверски расправляются с попадающими к ним в плен ранеными красноармейцами. В деревне Никулино фашисты изрубили на куски восемь раненых красноармейцев-артиллеристов; у троих из них отрублены головы..." - Он задержал палец на том месте, до которого дочитал, и, продолжая держать его там, поднял злые глаза и спросил: - Ну, что? - Спросил так, словно кто-то спорил с ним. Потом снова посмотрел на то место, где держал палец, и повторил: - "У троих из них отрублены головы..." А я вчера немца убил, так мне Караулов по уху дал. Да?

- Так тебе и надо! - отозвался Комаров. - А что же, люди старались, "языка" брали, а ты его бьешь! Посмотри, какой стрелок! - Так я ж его и брал, - возразил Леонидов. - Не ты один брал. - Ну ладно, по уху, - сказал Леонидов. - Не будь он комвзвода, он бы у меня покатылся! Ладно, пусть, - повторил он. - Но он же еще пригрозил: в другой раз повторить - расстреляю! Это как понимать? - А так и понимать: не бей "языка", - снова наставительно сказал Комаров. - А как понимать, что меня еще старший политрук тягал? Он мне про "языка" не говорил. Он говорит: "Раз пленный, то вообще не имеешь права... Какое твое право!" - он мне говорит. А это, - Леонидов упер палец в газету так, что прорвал ее, - а это я имею право читать? Или не имею? Я в газете своими глазами все это вижу, как людям головы рубят! А мне по уху? Да? Он замолчал, ожидая, что ему кто-нибудь ответит. Но ему никто не ответил, и он стал читать дальше, повысив голос против прежнего: - "В деревне Макеево командир роты связи тов. Мочалов и политрук роты тов. Губарев обнаружили зверски истерзанные трупы красноармейцев Ф.И.Лапенко, С.Д.Сопова, Ф.С.Фильченко. Фашисты надругались над ранеными, выкололи у них глаза, отрезали носы и перерезали горло..." - Он снова оторвался от газеты. - Для чего нам про это пишут? А, младший сержант? - Чтоб злей были. - Я и так чересчур злой! - А "языка" все равно не трогай, - отозвался Комаров, любивший бить в одну точку. - Раз взял, значит, взял. - Чересчур вы добрые, погляжу я на вас! - зло сказал Леонидов. Синцов отложил бритву. Последние слова Леонидова рассердили его. - А ты нам свою злость в глаза не суй! Подожди... - хлопнул он по колену, видя, что Леонидов собирается прервать его. - Ты злой! А сколько фашистов у тебя на счету? Кроме того пленного, два? А Комаров добрый, у него четверо!

Когда он в первый раз выходил из землянки умываться, это не бросилось ему в глаза, а сейчас он внезапно заметил всю красоту природы в этот солнечный зимний день: и на редкость синее небо, и белизну нападавшего за ночь снега, и черные тени стволов, и даже треугольник самолетов, летевших так высоко, что их далекое, тонкое пение не казалось опасным. Только что в блиндаже они спорили между собой о войне и смерти, о том, как убивать людей, и о том, можно ли при этом быть добрым и злым... А сейчас он шел к развалинам барского дома по залитой солнцем и разлинованной тенями стволов сосновой аллее и думал, как, в сущности, плохо приспособлен человек к той жизни, которая называется войной. Он и сам пытается приучить себя к этой жизни, и другие заставляют его приучиться к ней, и все равно из этого ровным счетом ничего не выходит, если иметь в виду не поведение человека, на котором постепенно начинает сказываться время, проведенное на войне, а его чувства и мысли в минуту отдыха и тишины, когда он, закрыв глаза, может, словно из небытия, мысленно возвратиться в нормальную человеческую обстановку... Нет, можно научиться воевать, но привыкнуть к войне невозможно. Можно только сделать вид, что ты привык, и некоторые очень хорошо делают этот вид, а другие не умеют его делать и, наверное, никогда не сумеют. Кажется, он, Синцов, умеет делать этот вид, а что проку в том? Вот пригрело солнышко, небо синее, и самолеты летят куда-то не сюда, и пушки стреляют не сюда, и он идет, и ему так хочется жить, так хочется жить, что прямо хоть упади на землю и заплачь и жадно попроси еще день, два, неделю вот такой безопасной тишины, чтобы знать, что, пока она длится, ты не умрешь...

Симонов

Порою, чем дальше уходит дорога жизни, тем с большим удивлением двое, идущие рядом, вспоминают начало пути. Огни прошлого исчезают где-то за поворотом... Чтобы события на расстоянии казались все теми же, теми же должны остаться и чувства.

А у нас-то с Надюшей где был тот роковой поворот? Сейчас, когда несчастье заставило оглянуться назад, я его, кажется, разглядел. И если когда-нибудь Надя вернется...

Мысленно я все время готовлюсь к тому разговору. Это, я думаю, еще не стало болезнью, но стало моей бессонницей, неотступностью. Ночами я веду диалог, в котором участвуем мы оба: Надя и я. Сюжет диалога всегда одинаков: это наша с ней жизнь.

Если прошлое вспоминается «в общем и целом», оно, наверное, умерло или просто не имеет цены. Лишь детали воссоздают картину. Подчас неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они с годами обретают значительность.

Так сейчас происходит со мной.

Но почему все, о чем я теперь вспоминаю, так долго не обнаруживало себя?

Я должен восстановить разрозненные детали. Быть может, собравшись вместе, они создадут нечто цельное?

Мы с Надей работали в конструкторском бюро на одном этаже, но в разных концах коридора. Встречаясь, мы говорили друг другу «здравствуйте!», не называя имен, потому что не знали их. Когда же меня вместе с чертежной доской решили переселить в Надину комнату, некоторые из ее коллег запротестовали: «И так уж не протолкнешься!»

— Одним человеком меньше, одним больше... — стал убеждать представитель дирекции.

— Это смотря какой человек! — сказала Надюша.

Потом, возникшая из-за своей чертежной доски, словно из-за ширмы кукольного театра, я нарочно встречался с Надей глазами и улыбался, чтобы она поверила, что я человек неплохой. С той же целью я пригласил ее однажды на концерт знаменитой певицы.

— Пойдемте... Я тоже пою! — сказала она. И добавила: — Правда, есть одно затруднение: у меня насморк и кашель. Таких зрителей очень не любят.

Но именно там, в Большом зале Консерватории, я ее полюбил. В течение двух отделений Надя героически старалась не кашлять и не чихать. А когда знаменитую певицу стали вызывать на «бис», она шепнула:

— У вас нет платка? Мой абсолютно промок. Вот уж не ожидала от своего маленького носа такой бурной активности!

Она напоминала ребенка, который в присутствии гостей, повергая родителей в ужас, может поведать обо всех своих намерениях и выдать любые тайны семьи.

«Милая детская непосредственность...» — говорят о таких людях. Надина непосредственность никогда не была «милой» — она была удивительной.

Покоряющей... Ее синонимом была честность. Я-то ведь не отважился сообщить ей, что сочиняю фантастические рассказы, которые никто не печатает! Тем более что, как я узнал окольным путем, она этот жанр не любила:

— Столько фантастики в реалистических произведениях!.. А когда я сказал Надюше, что мечтаю на ней жениться, она ответила:

— Только учтите, у меня есть приданое: порок сердца и запрет иметь детей.

— В вас самой столько детского! — растерянно пошутил я.

— С годами это может стать неестественным и противным, — ответила Надя. — Представьте себе пожилую даму с розовым бантиком в волосах!

- Но ведь можно, в конце концов, и без...

— Нет, нельзя, — перебила она. — Представляете, какая у нас с вами была бы дочь!

С той поры иметь дочь стало нашим главным желанием. Будущие родители обычно мечтают о сыновьях, а мы ждали дочь.

«Ясно... Запретный плод!» — говорили знакомые. Эти восклицания были не только банальными, но и неточными. Надюша, мало сказать, не прислушивалась к запретам врачей — она просто о них забыла. И только глаза, которые из-за припухлости век становились по утрам вроде бы меньше и уже, напоминали о том, что порок сердца все-таки есть.

— Почти всех женщин беременность украшает. На ком ты женился? говорила Надюша, разглядывая себя в зеркале по утрам.

Другие мечтали о сыновьях. А мы ждали Оленьку. И она родилась. «Она не могла поступить иначе, — написала мне Надюша в своей первой записке после того, как нас на земле стало трое.

— Меня полгода держали в больнице. Разве она могла обмануть мои и твои ожидания? Спасибо ей!»

С этой фразы, я думаю, все началось. Эта фраза перекинула мост и в тот страшный день, который разлучил нас с Надюшей. Мост длиною в шестнадцать лет и два месяца...

Алексин

- Танки пошли, лейтенант!— крикнул Щербак. Малешкин даже не успел сообразить, что ему делать, как в наушниках раздался отрывистый и совершенно незнакомый голос комбата: "Вперед!" — Вперед!— закричал Саня и прилип к панораме. Саня, в сущности, плохо понимал, что происходит. Комбат приказал не вырываться вперед, и двигаться за танками не ближе, чем в ста метрах. Щербак же повис на хвосте впереди идущей машины. Тридцатьчетверка шла зигзагами, стреляя на ходу. За ней так же зигзагами вел самоходку Щербак. Саня не видел поля боя: мешала тридцатьчетверка. Саня приказал Щербаку отстать или свернуть в сторону. Щербак, не ответив, продолжал плестись за танком. епился, повис и тоже вертелся вместе с машиной и дико кричал: "А-а-а-а!.." Из башни вырвался острый язык огня, окаймленный черной бахромой, и танк заволочло густым смолистым дымом. Ветер подхватил дым и темным лохматым облаком потащил по снегу в село.

"Что же я стою? Сейчас и нас так же...— мелькнуло в голове Малешкина.— Надо двигаться..." — Вперед, Щербак! Щербак повернулся к Малешкину. Саня не узнал своего водителя. У него в эту минуту лицо было без кровинки, словно высеченное из белого камня. — Вперед, Гриша! Вперед, милый! Нельзя стоять! — с отчаянностью упрашивал Саня. Щербак не пошевелился. Малешкин вытащил из кобуры пистолет. — Вперед, гад, сволочь, трус! — кричали на водителя наводчик с заряжающим. Щербак смотрел в дуло пистолета, и страха на его лице не было. Он просто не понимал, чего от него хотят. Саня выскочил из машины, подбежал к переднему люку и спокойно приказал: — Заводи, Щербак. Щербак послушно завел. Саня, пятась, поманил его на себя. Самоходка двинулась. — За мной!— закричал младший лейтенант Малешкин и, подняв пистолет, побежал по снегу к селу. В эту минуту Саня даже не подумал, что его легко и так просто могут убить. Одна мысль сверлила его мозг: "Пока горит танк, пока дым — вперед, вперед, иначе смерть". В небо взлетела зеленая ракета— танки повернули назад. Малешкин не видел этой ракеты. Он бежал не оглядываясь. Он видел только село. Там фашисты... Их надо выбить! Таков был приказ. И он выполнял его. сь. — А почему вы, Малешкин, в село впереди машины бежали?— ехидно спросил полковник.

Саня не знал, что отвечать. Сказать правду— значит, с головой выдать Щербака. Дей в ожидании ответа с любопытством разглядывал Малешкина. Саня поднял на полковника глаза и виновато улыбнулся: — Очень замерз, товарищ полковник, вот и побежал, чтоб согреться. Поверил ли словам Малешкина Дей, трудно сказать. Только вряд ли. Он повернулся к Беззубцеву и скрипучим, железным голосом приказал: — Комбат, доложите в свой штаб, чтобы Малешкина представили к Герою, а экипаж— к орденам.— И, уловив в глазах комбата удивление, еще жестче проскрипел:— Да, именно к Герою. Если б не Малешкин, бог знает, чем бы все это кончилось.

Курочкин

Главная претензия к пьесе «Горе от ума», высказываемая в разное время - независимо друг от друга - Пушкиным и Белинским, заключается в психологической несообразности конфликта. "Все, что говорит он, - очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека - с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подобное", - пишет Пушкин, сам всю жизнь глубоко страдавший от непонимания людей, цену которым он знал отлично.

Белинский по молодости лет идет дальше - его смущает самая пружина действия: в Софью влюблен, надо же! Какой после этого ум?! "И что он нашел в Софье? Меркою достоинства женщины может быть мужчина, которого она любит, а Софья любит ограниченного человека без души, без сердца, без всяких человеческих потребностей, мерзавца, низкопоклонника, ползущую тварь, одним словом - Молчалина.

Грибоедов попал в нерв: черта умного человека - изначально и неизбежно присущая уму, - увы, именно в этом. Высказываться перед теми, кто не может тебя понять; домогаться уважения тех, кого сам ты не можешь уважать ни при какой погоде; любить ту, которая способна полюбить кого угодно, кроме тебя, и, в сущности, мизинца твоего не стоит. Может ли быть иначе? Вряд ли. Потому что другое положение дел свидетельствовало бы уже о высокомерии, а оно весьма редко уживается с настоящим-то умом. Снобизм - иное дело, но редкий сноб умен в истинном смысле слова. Чаще он демонстрирует репетиловские черты - нахватался фраз, да и позиционирует себя, не особо слыша, что ему отвечают.

Горькая и странная эта пьеса - именно о том, как ум взыскует диалога. Он не живет в вакууме, пощеньячи горячо набрасывается на собеседника, надеясь разagitировать, перевербовать его, хоть что-то доказать, попросту выболтаться. Пушкина и Белинского смущает, что Чацкий не разобрался в Софье. Скажите на милость, естественно ли для умного человека разбираться в предмете страсти? Это признак совсем иной души - расчетливой, опытной, пусть даже и тонкой, но Грибоедова интересует ум философский, чаадаевский, чацкий, адский, самоцельный, занятый вечными вопросами. Такому мудрецу в самом деле не понять, что у него под носом делается. Грибоедов точно подмечает ахиллесову пяту всякого большого ума: необходимость отклика, а в особенности - потребность в любви. Не дается ум холодным и самодостаточным существам, это, в сущности, точная иллюстрация к поговорке про бодливую корову. И это - один из фундаментальнейших законов, на котором держится мир: если бы злодеи были умны - о, в какой ад они давно превратили бы захваченный ими мир! Но злодеи недалеки, как правило: способности к пониманию и здравому анализу съедены тщеславием, мнительностью, заботой об имидже, карьере. А ум дается таким, как Чацкий: лирическим, пылким, рассеянным, инфантильным, небрежно одетым. Высчитывать, кому и что можно сказать, - молчалинская черта. Это Молчалин у нас знает, в какое время открывать рот, а в какое тебя все равно неправильно поймут. А ум рассыпает цветы своего красноречия где захочет - ему ведь нетрудно.

Горе ума - в том, что он не может априори признавать людей идиотами. В нем нет холодного презрения к тем, что много ниже, и температура его мира - не околonoля, а много выше. Горе ума - в вечном и обреченном поиске понимания, в монологах перед Фамусовыми и Скалозубами, в искреннем неумении и нежелании вести себя так, чтобы "блаженствовать на свете". Горе ума - в любви к Софье, потому что здраво оценивать возлюбленную - прерогатива буфетчика Петруши. Но ничего не поделаешь: все эти бессмыслицы - неременная черта умного человека, этой немногочисленной, но, к счастью, неистребимой породы.

Быков

Книги продолжали открывать предо мною новое; особенно много давали мне два иллюстрированных журнала: «Всемирная иллюстрация» и «Живописное обозрение». Их картинки, изображавшие города, людей и события иностранной жизни, всё более и более расширяли предо мною мир, и я чувствовал, как он растёт, огромный, интересный, наполненный великими деяниями.

Храмы и дворцы, не похожие на наши церкви и дома, иначе одетые люди, иначе украшенная человеком земля, чудесные машины, изумительные изделия - всё это внушало мне чувство какой-то непонятной бодрости и вызывало желание тоже что-то сделать, построить.

Всё было различно, непохоже, но однако я смутно сознавал, что всё насыщено одной и той же силой - творческой силою человека. И моё чувство внимания к людям, уважение к ним росло.

Я был совершенно потрясён, когда увидел в каком-то журнале портрет знаменитого учёного Фарадея, прочитал непонятную мне статью о нём и узнал из неё, что Фарадей – был простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой.

«Как же это? - недоверчиво думал я. - Значит - который-нибудь из землекопов тоже может сделаться учёным? И я - могу?»

Не верилось. Я стал доискиваться - нет ли ещё каких-нибудь знаменитых людей, которые были бы сначала рабочими? В журналах никого не нашёл; знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди были сначала рабочими, и назвал мне несколько имён, между прочим - Стефенсона, но я не поверил гимназисту.

Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть люди, которые живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утешало, не примиряя с оскорбительной действительностью; я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к неведомому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего, и все они становились более близкими, понятными. Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, и каждая из них была как бы душой, запечатлённой на бумаге знаками и словами, которые оживали, как только мои глаза, мой разум соприкасались с ними.

Горький



Весь в пару надвинулся к перрону поезд. Обынделевые крыши вагонов, натеки льда с крыш, белые слепые окна. И словно это он нанес с собой ветер, помело с крыши вокзала, закружило. В снежном вихре, в пару метались люди от дверей к дверям, бежали вдоль состава.

Каждый раз вот так бегает с вещами, с детишками, а везде все закрыто, ни в один вагон не пускают.

Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. Осторожно выплюнул гвозди в горсть.

— Вот бы Гитлера сюда этого! Сам-то он в тепле сидит. А народу такие мучения принимать... Да с детишками...

И зябко ежился, будто и его тут мороз пронял. Глупым показался Третьякову этот разговор. Срывая на санитаре зло, потому что ему тоже было жаль метавшихся по морозу баб, которых гнали от поезда, сказал:

— Что ж, по-твоему, захотел какой-то Гитлер — и война началась? Захотел — кончилась?

И сам от своего командирского голоса распрямился под халатом.

Санитар враз поскучнел, безликим сделался.

— Не я ж захотел, — бормотал он себе под нос, переходя к другому окну. — Или мне моя нога лишней оказалась?

Третьяков посмотрел ему вслед, на один его сапог и на деревяшку. Что ему объяснишь? Не приставишь оторванную ногу и не объяснишь. А самое главное, что он и себе не все уже мог объяснить. В школе, со слов учителей, он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в том, что он повидал за эти годы, не было легких объяснений. Ведь сколько раз бывало уже — кончались войны, и те самые народы, которые только что истребляли друг друга с такой яростью, как будто вместе им нет жизни на земле, эти самые народы жили потом мирно и ненависти никакой не чувствовали друг к другу. Так что же, способа нет иного прийти к этому, как только убив миллионы людей? Какая надобность не для кого-то, а для самой жизни в том, чтобы люди, батальонами, полками, ротами погруженные в эшелоны, спешили, мчались, терпя в дороге голод и многие лишения, шли скорым пешим маршем, а потом эти же люди валялись по всему полю, порезанные пулеметами, разметанные взрывами, и даже ни убрать их нельзя, ни похоронить?

Трава родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще растет трава. Но ведь не для того живет человек на свете, чтобы удобрить собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных людей мучилось по госпиталям?

Конечно, не один кто-то движет историю своей волей. Просто людям так легче представить непонятное: либо независимо от них совершается, либо кто-то один направляет, кому ведомо то, что им, простым смертным, недоступно. А происходит все не так и не так. И бывает, что даже всех совместных человеческих усилий мало, чтобы двинулась история по этому, а не по другому пути.

Еще до войны прочел он поразившую его вещь: оказывается, нашествие Чингисхана предварял целый ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди, небывало росли травы, плодились несметные табуны, и все вместе это тоже дало силу нашествию. Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха, а не сойдись все так благоприятно, и не обрушилось бы страшное бедствие на народы в других краях. И история многих народов пошла бы по-другому.

На фронте воюет солдат, и ни на что другое не остается сил. Сворачиваешь папироску и не знаешь, суждено ли тебе ее докурить; ты так хорошо расположился душой, а он прилетит — и накурится... Но здесь, в госпитале, одна и та же мысль не давала покоя: неужели когда-нибудь окажется, что этой войны могло не быть? Что в силах людей было предотвратить это? И

миллионы остались бы живы... Двигать историю по ее пути— тут нужны усилия всех, и многое должно сойтись. Но, чтобы скатить колесо истории с его колеи, может быть, не так много и надо, может быть, достаточно камешек подложить?

Бакланов

Я позвонил в дверь своей квартиры, и когда вошел, во всем доме погас свет. Двор-колодец погрузился во мрак, встал лифт, перестали дребезжать и петь звонки, кухня лишилась привычного зудения холодильника, умолк телефон его по новой моде тоже питало электричество. У подъезда встала машина охраны - милиционеры при свете плафона играли в салоне в карты и вполглаза приглядывали за входной дверью - отключившаяся сигнализация дала сигнал тревоги.

На лестницах заколыхались тени, а в глубине окон, как в пещерах, засветились лучики свечей. Соседи по площадке сказали, что аварийка работает на Петроградской стороне, будет у нас на Васильевском не раньше, чем через час.

Ужинали при свечах.

В доме было непривычно тихо, и когда мы пили чай, вскипаченный в ковшичке на газе, я загляделся на свечу и порадовался. Молчал телевизор, молчал телефон, не урчала посудомоечная машина, не гроыхала дверь лифта.

В тихом полумраке обнаружилась своя таинственная прелесть, и когда я внес свечу в кабинет, по корешкам книг пробежала загадочная улыбка-тень. Я взял одну наугад, и, пристроив подсвечник на круглый столик, принялся листать. И думал о том, что вспыхни сейчас люстра над головой, залейся коридор ярким светом и закричи голосом рекламного зазывалы телевизор на кухне, - я огорчусь: мне хотелось длить уютный полумрак и наслаждаться вынужденным молчанием телефона. Потрескивала свеча, навевая настроение вполне философское.

Вошла жена с дочкой, сели на диван, и я отложил книгу. Они напомнили мне ребятню у ночного костра, когда отблеск огня ложится на лица и водит за спинами густые черные тени.

И вдруг из теплого свечного уюта генетическая память бросила меня в другую крайность. Я помолчал и спросил, могут ли мои женщины представить себе блокаду Ленинграда. Нет света, газа, еды. Замерз водопровод. В доме холоднее, чем на улице. На лестнице, возле застывших батарей, лежат припорошенные снегом трупы. Из черной тарелки репродуктора тикает метроном. Слабость, туман в голове. И дом сотрясается от близких разрывов бомб или снарядов...

Полумрак создавал ощущение, что все это рядом, близко, и жена с дочерью дружно передернули плечами.

Мы стали говорить о другом, о чем давно не говорили, и просидели с полчаса при оранжевом огоньке свечки. Вернулся из института сын и, пройдя темным коридором, присоединился к нашей компании, потирая с мороза руки и блестя глазами. И я думал о том, что мы часто ругаем судьбу за ее немилость к нам, но редко благодарим за наши удачи. И спим в теплых кроватях, пьем по утрам кофе с булочкой, равнодушно смотрим, как рекой льется кровь в телевизоре, гремят выстрелы, но отними у нас, городских, хотя бы свет или тепло, и жизнь покажется до ужаса несправедливой.

Мы вновь вернулись к теме блокады, и жена сказала, что тогда у людей была злость на врага и стремление к общей победе, - они не давали пасть духом и придавали силы.

А сейчас... - жена пожала плечами. - Какая сейчас может быть общая победа?.. Всяк сам по себе...

Скажи спасибо, если еще свет починят.

Вспыхнул свет, и я мысленно сказал спасибо. Мы разбрелись по квартире смотреть телевизор, звонить по телефону, щелкать клавишами компьютера... И мне долго вспоминалась горящая в темноте свеча и отблеск огонька на лицах домочадцев.

Каралис

Он вышел к дороге неподалёку от развилки и сразу же наткнулся на огромную воронку, на дне которой уже проступила вода; за воронкой, почти у самой обочины шоссе, лежали трое убитых - капитан и двое солдат. Убиты они были, очевидно, давно, может быть, даже ещё вчера вечером во время первого воздушного налёта на Соломки, потому что успели уже остыть и посинеть. Володин остановился и оглядел трупы. Много искалеченных и изуродованных тел видел он сегодня, и все же заглодело в груди, когда склонился над синим, слегка уже вздувшимся лицом капитана - по лицу бегали муравьи и растаскивали запёкшуюся кровь; Володин отвернулся и на ощупь вынул из кармана убитого документы, развернул удостоверение личности и прочёл: "Капитан Горошников". Фамилия совсем незнакомая, он не знал, что это был тот самый новый командир батальона, которого так ждал и не дождался майор Грива, не знал, что уже и самого майора нет в живых, а командование батальоном принял на себя капитан Пашенцев, как старший по званию; и партийный билет Горошникова, и удостоверение личности, и обе красноармейские книжки, взятые у солдат, Володин положил к себе в нагрудный карман и вышел на шоссе. Он был уже на развилке, когда над Соломками появились "юнкеры". Головной бомбардировщик пошёл в пике, и Володин, так же, как фельдшер Худяков у палаток санитарной роты, как подполковник Табола у развалин двухэтажной кирпичной школы, несколько мгновений напряжённо следил за стремительным падением вражеского самолёта. Взрывы взметнулись около стадиона. Второй "юнкере" явно целил ближе, на площадь; третий заходил ещё ближе к развилке, а четвёртый и пятый, наверное, уже начнут сбрасывать бомбы на развилку, обрушатся на стоящую здесь батарею противотанковых пушек. Володин свернул с дороги и прыгнул в щель, выкопанную ещё девушками-регулирующими; едва успел осмотреться, как над головой послышался пронзительный, нарастающий свист бомб, и сейчас же, как по клавишам, - трах-трахтрах! - прогремели вдоль обочины разрывы. "Юнкере" промахнулся, не попал в батарею, но зато Володин оказался в самом центре разрывов. И хотя укрытие было надёжное, и он знал, что никакой осколок не заденет его, а вероятность прямого попадания так мала, и к тому же сам он за все время, пока на фронте, ещё ни разу не видел, чтобы огромная бомба угодила в маленькую щель, - хотя бояться ему было нечего, все же он пережил несколько страшных минут. Он снова подумал, что может погибнуть вот так, совершенно бесславной, глупой смертью, не совершив ничего, но теперь его больше пугала не сама смерть, а то, что произойдёт после того, как его убьёт, - будет валяться на краю воронки, синий, вспухший, и по лицу будут ползать муравьи, растаскивать запёкшуюся кровь... Но когда опасность миновала и он понял, что "юнкеры" уже больше не прилетят сюда, на развилку, и можно спокойно подняться и идти к своей роте, к пулемётам, и когда затем он поднялся и во весь рост пошёл по шоссе, опять уже думал о бое - сознание долга всегда сильнее страха, - теперь ему снова хотелось, чтобы все утреннее сражение повторилось сначала, и тогда он, лейтенант Володин, уже не совершит ни одной ошибки, не слепо, не через голову будет швырять гранаты в наползающие танки, а кидать прицельно, точно, с расчётом. Но хотел он или не хотел этого, события развивались помимо его воли и желания: снова захотела артиллерийская канонада, едва лишь "юнкеры", отбомбившись, улетели к своим аэродромам, снова за лесом вражеские танки выстроились в ромбовую колонну и двинулись к гречишному полю, а на белгородских высотах, на самой господствующей высоте, вблизи хутора Раково, в сухом окопе с бревенчатыми стенами фельдмаршал фон Манштейн повернул стереотрубу в сторону Соломок...

Ананьев